

ния человека, чье преступление разорвало его связь с людьми.¹⁵ Впрочем, на наш взгляд, мысль о воздействии Диккенса на образ Раскольникова остается довольно шатким предположением.

Д. Д. ОБЛОМИЕВСКИЙ

КНЯЗЬ МЫШКИН

Говоря о Мышкине как об «идеологе» романа «Идиот», как о носителе основной его идеи, нельзя не отметить, что он не относится к числу персонажей Достоевского типа героя «Записок из подполья», героя «Игрока», Раскольникова, являющихся людьми усиленной мысли, активного и высокого сознания. У князя Мышкина отсутствует какое-либо законченное теоретическое мировоззрение, все части которого были бы логически связаны друг с другом и вытекали одна из другой. У него нет завершенной системы принципов и мыслей, логически сформулированного отношения к действительности. Он ни в коем случае не может быть назван мыслителем в том смысле, в каком это слово приложимо к Раскольникову и герою «Записок». Более того, по своему духовному облику он самым решительным образом противопоставит людям теоретического склада, склонным к отвлеченности и абстракции. И в то же время князь Мышкин является человеком, имеющим свою, оригинальную, довольно твердую и устойчивую жизненную позицию. И эта его позиция могла бы вполне стать реальной основой целого мировоззрения, целой системы мыслей. Если он не переводит свои поступки и свое поведение в сферу логических выводов и итогов, то это объясняется тем, что он не придает значения мыслям самим по себе. Для него существенны поведение человека, его поступки, его действительное отношение к другим людям и к жизни в целом.

В характере князя Мышкина бросается в глаза в первую очередь его особый интерес и любовь к детям, его преклонение перед ними и восторг, который они у него вызывают. Князь Мышкин вспоминает с особой симпатией о своей жизни в Швейцарии именно потому, что он находился там «все время <...> с детьми, с одними детьми» (8, 57).

И во взрослых, при встречах с ними, князь Мышкин любит обнаруживать остатки детскости, в них сохранившиеся, радуется, открывая в душах окружающих следы их ранних лет. Князь и сам в своем поведении напоминает ребенка. С необыкновенной

наивностью внимания, совсем не скрывая этого, слушает он, например, все, что его интересует, и с той же наивностью отвечает на вопросы, которые ему задают. В его лице и даже в положении его корпуса отражается эта наивность, эта вера, не подозревающая ни насмешек, ни юмора. Он ценит детей и детское в людях взрослых именно потому, что в детях и в людях с реликтами детского возраста чувствует родную, близкую, подходящую для себя среду: «...я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими <...> не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были дети» (8, 63).

Что же ценит князь в детях? Какое содержание вкладывает он в понятие детскости? Основным является здесь практическая незаинтересованность и бескорыстность, полная доверчивость, т. е. отсутствие каких бы то ни было задних мыслей, скрытности, маскировки и горячее, взволнованное, непосредственное отношение к окружающему. Князь недаром подчеркивает у детей быстроту и произвольность перехода от одного состояния к другому. Они действуют не раздумывая, сразу, по первому импульсу. Вспоминая о своих встречах с детьми в Швейцарии, князь говорит: «...многие уже успевали подрасться, расплакаться, опять помириться и поиграть, покамест из школы до дому добежали» (8, 64). Любопытно и сходство между детьми и птицами, которое устанавливает князь. Он говорит: «...когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и стыдливо, вам ведь стыдно ее обмануть! Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете» (8, 58). Он имеет здесь в виду опять-таки детскую беззаботность, бескорыстность, незаинтересованность. Он как бы вспоминает евангельское изречение о том, что «птицы небесные не жнут и не сеют».

Детская сфера жизни является в представлении князя чем-то вполне противоположным и враждебным той жизненной и социальной сфере, в которой действуют Епанчин и Тодкий, Ганя, Лебедев и Птицын. Это по преимуществу антибуржуазная область, свободная от корыстных инстинктов, от культа богатства, денег, от всяческой материальной заинтересованности.

Не случайно, что детскость в характере князя находится в тесной связи с его житейской непрактичностью, с его незнанием жизни. Князь сам признается в том, что он ничего не знает «практически ни в здешних обычаях, ни вообще как здесь люди живут». Он все время подчеркивает, что он «меньше других жил и меньше всех понимает в жизни». «Совсем ты, князь, выходишь юридический, и таких, как ты, бог любит», — бросает ему Рогожин (8, 14).

Но эта наивность и непрактичность князя не мешают ему быть необыкновенно проникательным и прозорливым во всем, что ка-

¹⁵ См.: Hulse B.-F. Dostoevsky for Dickensians. — The Dickensian, 1955, vol. LI, pt. 2, № 314, p. 68; Futrell M. H. Dostoevsky and Dickens. — English miscellany. A symposium of history, literature and art. Rome, 1956, p. 63—66.

сается душевной жизни человека, во всем, что касается его внутреннего мира. Не понимая хитростей, интриг, всего грубо практического, оставляя все это за пределами своего кругозора, князь в то же время очень глубоко постигает всякого рода душевные тайны, недоступные обыкновенному взору. Аглая заявляет ему: «... если говорят про вас <...> что вы больше иногда умом, то это несправедливо <...> зато главный ум у вас лучше, чем у них у всех, такой даже, какой им и не снился» (8, 356). Этот «главный ум» открывает все то, что остается для других скрытым и непонятным. В разговоре с Рогожиным князь утверждает, например, что Настасья Филипповна «не в своем уме». Рогожин замечает ему на это: «Как же она для всех прочих в уме, а только для тебя одного как помешанная» (8, 304). Рогожину кажется странным и логически несообразным отношение к нему Настасьи Филипповны. Князь предельно точно улавливает скрытый смысл этих отношений. Он говорит Рогожину: «... она тебя теперь, может, больше всех любит <...> чем больше мучает, тем больше и любит. Она этого не скажет тебе, да надо видеть уметь» (8, 303). Вот это «умение видеть» все, что происходит внутри человека, и отличает князя от окружающих.

Князю прежде всего оказывается доступным все индивидуальное и своеобразное во внутреннем мире человека. При первой же встрече он правильно, точно и тонко определяет душевное содержание двух старших сестер Аглаи Епанчиной. Относительно Настасьи Филипповны он сразу заявляет: «Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами...» (8, 31—32).

Князь прекрасно разбирается не только в постоянных свойствах души, в душевной основе человека, в его характере, но также и во всех мольчайших и мимолетных оттенках чувств и переживаний. Он обладает способностью понимать тончайшие и сложнейшие душевные процессы. Он точно устанавливает тайные мотивы, которые заставили Ипполита прочитать перед всеми свою «Исповедь», хотя эти мотивы и противоречат внешнему впечатлению от ее содержания: «Ему хотелось тогда... всех вас благословить и от всех вас благословение получить», «... ему хотелось, чтобы <...> мы все его похвалили <...> чтобы все его обступили и сказали ему, что его очень любят и уважают» (8, 354). Мышкин правильно и просто вскрывает самую суть своих отношений с Рогожиным, хотя для Рогожина смысл этих отношений остается закрытым. «И будь я как ангел пред тобою невинен, ты все-таки терпеть меня не будешь, пока будешь думать, что она (Настасья Филипповна, — Д. О.) не тебя, а меня любит. Вот это ревность, стало быть, и есть» (8, 303).

Душевная жизнь открывается князю в своей внутренней закономерности и логической необходимости. Когда Ипполита после дружеских излияний и откровенностей охватывает чувство стыда за эту свою откровенность, за слезы, выступившие на его глазах,

и он внезапно со злобой обращается к людям, с которыми только что разговаривал как с близкими ему друзьями, князь восклицает: «Ну вот, этого я и боялся. Так и должно было быть!» Характерна для мироощущения князя эта формула: «Так и должно было быть!» (8, 249).

«Главный ум» князя Мышкина, его необыкновенная проницательность и зоркость становятся ясны для окружающих далеко не сразу. Наиболее четко и остро формулирует двойственное впечатление, которое производит князь на окружающих, поручик Келлер: «... то уж такое простодушие, такая невинность, каких и в золотом веке не слыхано, и вдруг в то же время писквозь человека пронзаете, как стрела, такую глубочайшую психологическую наблюдения» (8, 258).

Двойственность характера Мышкина, которую отмечают в нем Келлер, Ипполит и Галя Иволгин, является, впрочем, только кажущейся. На самом деле «главный ум» нисколько не противоречит «детскости», но, наоборот, на ней основывается и из нее вытекает. Это, впрочем, чувствует определенным образом и сам князь, когда он заявляет, что дети «все понимают», что ребенок даже «в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет», что взрослые детей ничему не научат, а дети научат взрослых (8, 58).

Но «главный ум» князя, позволяющий ему видеть в людях скрытые от других их душевные тайны, обнаруживает перед ним и целый мир душевных аномалий и уродств, который, как оказывается, со всех сторон его окружает. Князю открывается гипертрофированное самолюбие Ипполита, болезненная и гиперболическая страстность Парфена Рогожина, бесхарактерность и беспринципность Гали Иволгина, моральная слабость Келлера, слабоумие Бурдовского. Всюду кругом себя улавливает он различные формы уродства и разные отклонения от нормы. «Главный ум» раскрывает ему дисгармоничность действительности. Он влечет его к скептическому взгляду на мир, к пессимизму и разочарованию. Князь оказывается здесь близок к Ипполиту, его нигилистическому мировоззрению и его склонности все отрицать, все осуждать, во всем сомневаться, ни во что не верить. Он, однако, не вступает на путь Ипполита. В отличие от него князь сохраняет веру в человека.

Выход для Мышкина открывается в его убеждении, что всякое первоначальное впечатление от человека, пусть самое глубокое и богатое по содержанию своему, неизбежно оказывается недостаточным и неполным. Оно неизбежно подвергается отрицанию и углублению в дальнейшем. Князь не раз пытается характеризовать человека сразу. И характеризует его при этом безошибочно и точно. Но характеристика неизбежно обнаруживает в дальнейшем свою неполноту и, стало быть, неадекватность. Князь, например, утверждает про Рогожина, что в нем «много страсти, и даже какой-то большой страсти» (8, 28). Но вскоре вно-

сит в это утверждение поправку, заявляя, что Рогожин «не одна только страстная душа», что характер его «поглубже одной только страстности» (8, 191 и 192).

Аглая как-то говорит Мышкину, что «так смотреть и судить душу человека», как он «судит Ипполита», «очень грубо», что у князя «нет нежности», что в его заключении об Ипполите «только одна правда» и что это, «стало быть, — несправедливо» (8, 354). И князя крайне задевают слова Аглаи. Он думает о них, не может отвязаться от них, мучается ими. И все это потому, что они вполне соответствуют его внутренним убеждениям. А слова Аглаи нужно понимать в том смысле, что «правда», т. е. знание пороков и недостатков данного человека, никогда не адекватна его характеру в целом. Она только приближается к нему и отсюда ее «несправедливость». Если исходить только из этой «правды», то невольно окажешься «очень грубым» и тебя упрекнут в «недостатке нежности». Недостаточно владеть «правдой», нужно еще обладать верой в человека, нужно считать, что он способен на изменение, что в душе таятся скрытые и неистраченные резервы, что в нем заложены не проявившиеся до сих пор моральные силы. Только человек, обладающий такой верой, может подойти вплотную к подлинной сути чужого «я», может достигнуть его во всех возможностях и потенциях. «А князь для меня то, — говорит о нем Настасья Филипповна, — что я в него в первого, во всю мою жизнь, как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю» (8, 131).

Осуждение какого-либо человека является с точки зрения князя результатом неполной осведомленности о внутреннем мире этого человека, результатом неполного знания, не проникшего далее природных паростов. Когда же человек до конца разгадан, до конца понят и позван, то он тем самым и оправдан — ясны все причины и основания его поступков и действий, его чувствований и переживаний. Не случайно, что князь все обвиняет и осуждает себя за то, что он «иногда веру теряет» и даже именуется себя за эту утрату веры в человека «подлым». Не случайно, что он все время боится опрометчиво и поспешно, не имея достаточных оснований, вынести кому-либо приговор, кого-либо осудить и подвергнуть отрицанию.

Любопытно отношение, которое складывается у князя к Настасье Филипповне. Он считает ее сонедней с ума, ненормальной, больной, нуждающейся в особом уходе и присмотре. Он осуждает ее за поведение в отношении Евгения Павловича, за ее письмо к Аглае, за ее мечты. И в то же время он не чувствует себя вправе до конца осудить Настасью Филипповну. Он размышляет о ее переписке с Аглаей: «Как решилась она ей писать <...> как могла такая безумная мечта зародиться в ее голове? <...> Да, конечно, это был сон, кошмар и безумие; но тут же заключалось и что-то такое, что было мучительно-действительное

и страдальчески-справедливое, что оправдывало и сон, и кошмар, и безумие» (8, 378).

Особенно четко раскрывается позиция князя в отношении других людей в эпизоде с Рогожиным. Бродя по Петербургу и видя всюду на своем пути прячущегося от него Рогожина, князь проникается подозрением, что тот ненавидит его и хочет убить. Но сейчас же в сознании князя возникает противоположная, снимающая это подозрение мысль: «... что же в том, что действительно он там встречает Рогожина? Он увидел только несчастного человека, душевное настроение которого мрачно, но очень понятно». И он с возмущением размышляет о своей излишней «подозрительности». Князь спрашивает самого себя, «не преступление ли, не низость ли» с его стороны «так цинически откровенно сделать такое предположение!» В итоге ему становится «слишком грустно» за свою «чудовищную и глубокую мнительность». Он признает, что у него «на душе потемки», раз он мог «вообразить такой ужас». Он искренне готов считать себя «последним из последних» «с точки зрения нравственной» (8, 190—193). Отчаяние и страдание захватывают его душу. Между тем подозрительность князя в скором времени оправдывается. Рогожин делает попытку его убить. И тем не менее князь остается прав в обвинениях, которые он направляет по своему адресу. Рогожин не исчерпывается его мимолетно вспыхнувшей ненавистью к князю. Он богаче, сложнее, многообразнее и тем самым лучше.

И в Лебедеве, и в Гане Иволгине, и в пьяном солдате, и тем более в Настасье Филипповне и в Рогожине князь Мышкин открывает прежде всего человека, и притом человека несчастного, страдающего, вызывающего сочувствие, сострадание, жалость. Именно на этих чувствах и основывается вообще его отношение к людям. Недаром он призывает: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества» (8, 192). Он пытается все время обнаружить в человеке внутреннюю скрытую червоточину, которая его уродует, калечит, портит, нарушает его нормальное, естественное состояние, его «детскость», вызывает в нем страдание и боль. Именно на это, оказывается, направлены его «главный ум», его необыкновенная пронзительность, его умение раскрывать чужие душевные тайны. В наростах, наслоениях на первичной основе характера, в уродливых отклонениях человека от нормы он усматривает симптомы человеческого страдания, мучения, горя.

Чувство сострадания определяет отношение князя к Настасье Филипповне. Чувство, которое испытывает к ней князь, нельзя назвать просто любовью. Это не любовь, а своеобразная любовь-жалость, то самое чувство, которое испытывал к своей невесте Раскольников, то чувство, которым была одержима Соня Мармеладова. Уже в самом лице Настасьи Филипповны заключается для Мышкина «что-то мучительное». Лицо это еще на портрете вызывает в нем «целое страдание жалости». Вообще сострадание

и даже страдание за Настасью Филипповну «никогда не оставляет его сердце». Настасья Филипповна представляется ему в первую очередь несчастным, слабым, незащищенным существом, нуждающимся в уходе, в заботе, в охране, в покровительстве. В Настасье Филипповне князь Мышкин совсем не случайно видит ребенка, т. е. существо, опять-таки нуждающееся в опеке. Его влечет к ней как «к какому-то жалкому и больному ребенку, которого трудно и даже невозможно оставить на свою волю». После свидания Настасьи Филипповны с Аглаей, когда князь покидает Аглаю и остается с Настасьей Филипповной, он этот свой шаг объясняет тем, что он тогда «лица Настасьи Филипповны не мог вынести» (8, 483).

Чувством, освобождающим от эгоизма, является в романе Достоевского любовь. И существует решающее различие в отношении к любви между Мышкиным и другими центральными лицами романа, с которыми связывает его любовь, — Рогожиным, Аглаей, Настасьей Филипповной.

Князь испытывает подлинное и глубокое чувство к Аглас, горячо и восторженно любит ее и взволнованно преклоняется перед нею. Но он может понять душевный мир не только того, кого любит индивидуальной любовью. Он может понять душевную жизнь всех вообще людей. Любовь его объемлет весь мир. Индивидуальное любовное чувство, страсть не изолируют его от других людей, не превращают его в человека замкнутого и равнодушного к окружающим. Любовь к Аглас, в частности, не делает его глухим по отношению к Настасье Филипповне: «Я ведь тебе уж и прежде растолковал, что я ее „не любовью люблю, а жалостью“» (8, 473). Он все время чувствует, что обязан защищать и охранять Настасью Филипповну, заботиться и печься о ней. И когда во время злополучного свидания Настасьи Филипповны и Аглай ему становится ясно, что именно Настасья Филипповна, а не Аглая нуждается в заботе и защите, что именно Настасья Филипповна, а не Аглая, несчастна, он забывает об Аглае и остается с Настасьей Филипповной. Любовь-страсть не вытесняет из его сердца любви-жалости. И Аглаю, и Настасью Филипповну, и Рогожина любовь перерождает. Но это их перерождение и обновление раскрывается только в их отношении к человеку, которого они любят. В отношении их к остальному миру сохраняются свойства и особенности эгоистического миропонимания и мироощущения.

Впрочем, что касается до Рогожина, то он сохраняет свою индивидуалистическую замкнутость и по отношению к Настасье Филипповне. Подобно Алексею Ивановичу, герою «Игрока», он не постигает внутреннего душевного мира своей возлюбленной. Он не способен постигнуть, понять чужое «я» даже в том случае, когда он готов пожертвовать ради этого чужого «я» своей жизнью и своей судьбой. Он не понимает, в частности, характера любви Настасьи Филипповны к князю. Он не может уяснить себе,

почему она бежит от Мышкина, отказывается от брака с ним, непременно хочет устроить его свадьбу с Аглаей. «Что тут такое, — заявляет он по этому поводу князю, — я понять не могу и ни разу не понимал: — или любит тебя без предела, или... коли любит, так как же с другою тебя венчать хочет?» (8, 304).

Тем более не понимает Рогожин князя Мышкина и его особого отношения к Настасье Филипповне, его «любви-жалости». Характер князя, структура его внутреннего мира остаются для него закрытыми и недоступными. Что касается до остальных персонажей, вроде Аглай, Ипполита, то они для него просто не существуют. Во всем этом сказывается непривычка Рогожина к духовному общению с другими людьми. На протяжении всего действия романа он ни разу почти не испытывает особого желания выйти из своей скорлупы потому, что не доверяет другим людям, не верит в их доброжелательное отношение к нему, не верит в людскую дружбу. Князь говорит Рогожину: «Когда я с тобой, то ты мне веришь, а когда меня нет, то сейчас перестанешь верить и опять подозреваешь. В батюшку ты» (8, 174). Любопытно, что князь, делая предположение в разговоре с Рогожиным о том, что случилось бы с ним, если бы он не встретил Настасью Филипповну, подчеркивает как раз его подозрительность, замкнутость и молчаливость: «... если бы не было с тобой этой пасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй <...> засел бы молча один в этом доме с женой, послушною и бессловесною, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, да не нуждаясь в этом совсем, и только деньги молча и сумрачно паживал» (8, 178).

Гораздо более свободной от эгоистического миропонимания и мироощущения представляется Аглая. Она не только способна отречься от личных своих интересов, пренебречь всякого рода приличиями. Она оказывается в состоянии понять в какой-то степени и чужое «я», постигнуть в какой-то мере и внутренний мир другого человека. Аглая, в частности, прекрасно разбирается во многих особенностях характера князя, в строе его души. Именно Аглая четко формулирует мысль о «главном уме» Мышкина. Именно Аглая яснее всех других понимает, насколько князь морально выше, чище и благороднее других людей, его окружающих. Аглая, впрочем, совершенно не улавливает, в чем состоит и в чем заключается чувство князя к Настасье Филипповне. Она не понимает этого чувства, не понимает любви-жалости. Все это не укладывается в понятия, для нее привычные. И она усматривает в отношении князя к Настасье Филипповне обыкновенную любовь-страсть. И поэтому ревнует князя к Настасье Филипповне, проникается к ней ненавистью, хотя по сути дела никаких оснований для ревности и для ненависти не существует и существовать не может.

Но если Аглая не до конца открывает для себя внутренний мир Мышкина, то остальные люди остаются для нее такими же

абсолютно непознаваемыми существами, своего рода «вещами в себе», какой являлась для Рогожина его возлюбленная Настасья Филипповна. Аглая совершенно неправильно и извращенно представляет себе Настасью Филипповну, не понимает ее несчастья, совершенно неспособна попросту, по-человечески пожалеть ее, обращается с ней «как с беспутной». Настасья Филипповна, по ее словам, «представляет» «падшего ангела», т. е. играет заученную роль (8, 473).

В Аглае много детскости и наивности, которые помогают ей понять и осудить князя и его характер. Детскость Аглаи проявляется в ее «чуждачестве», в прямоте, с которой она заявляет людям, что она о них думает, в ее безбоязненной и публичной оценке достоинств князя, а также в критике его недостатков, с которой она обращается к нему при первой встрече.

Но на Аглае сказывается и влияние той среды, к которой она принадлежит. И это влияние заставляет ее считаться с «приличием» и стыдиться своей детскости и непосредственности. Часто ей становится стыдно, что она чересчур непроизвольно выражает свои чувства. Часто она стремится скрыть и замаскировать свои подлинные переживания. Стоит ей почему-либо смутиться, в у нее тотчас же возникает досада на себя за это смущение: «... она опять начала ужасно краснеть. В таких случаях, чем более она краснела, тем более, казалось, и сердилась на себя за это...» (8, 355).

В поведении Аглаи проявляется вообще та же замкнутость, сдержанность и молчаливость, которые отличают Рогожина. Ее поведение тоже определяется ее недоверием к людям, неверием в дружеские связи между людьми, неверием во врожденную доброту человека.

Привилегированное положение Аглаи в обществе делает для нее непонятными, подобно Алеше Валковскому, всякого рода жизненные трудности. Она, по существу, не знает чего-либо для себя невозможного, для нее не существует никаких непреодолимых препятствий, ничего, что серьезно мешало бы осуществлению ее желаний. Именно отсюда ее необычайная капризность, самовластность, избалованность, склонность «сегодня решать одно, а завтра говорить другое». В этом источник и ее неспособности понять и прочувствовать страдания других людей.

Под влиянием князя и любви к нему в Аглае пробуждается ее детскость и наивность. Она все чаще и чаще выдает себя и свои подлинные переживания, все больше и больше утрачивает свою скрытность, свое стремление к отъединенности, к маскировке своих чувств и мыслей. Столкновение с Настасьей Филипповной из-за князя не доводит, однако, до конца этот процесс морального возрождения Аглаи. Или же, точнее говоря, срывает его и ликвидирует. В Аглае пробуждается под влиянием ревности к Настасье Филипповне чувство светских приличий и дистанций, словесные иллюзии и предрассудки.

Поэтому в момент своей встречи с Настасьей Филипповной Аглая ведет себя с ней надменно и высокомерно, не скрывая своего отвращения и презрения к ней, дрожа от ненависти и злобы и как бы «боясь замараться» (8, 468). Она обращается с Настасьей Филипповной как с существом высшего порядка, недостойным сочувствия и уважения, любви и заботы. Она не видит в ней страдающего человека, младшую, более слабую сестру, которой нужно оказать помощь. По это поведение Аглаи является началом конца для нее самой. Она именно из-за этого теряет князя, выходит из-под его морального воздействия, порывает с семьей и с родиной.

Настасья Филипповна еще более, чем Аглая, свободна от индивидуалистических тяготений, от индивидуалистической замкнутости. Она способна пожертвовать собой ради человека, которого она любит. Поэтому она неоднократно отказывается от князя и даже бежит от него из-под венца, считая, что счастье может ему принести только брак с Аглаей. В то же время, если Рогожин не понимает свою возлюбленную, Настасью Филипповну, если Аглая только частично постигает мир князя, человека, в которого она влюблена, то для Настасьи Филипповны князь и его характер, его душа раскрываются до самых своих оснований. Настасья Филипповна потому и отказывается от князя, что великодушно создает характер его любви к ней, понимает, какой любовью он ее любит, понимает, что это только любовь-жалость, что тут нет ни грамма индивидуального чувства. Князь, по ее словам, «потом» стал бы ее «презирать» и «не было б с ним счастья».

Но и Настасья Филипповна способна открыть себе внутренний мир только одного человека, того, кого она любит. Она не в силах разгадать характер Рогожина, не ценит его любви к ней, издевается над ним, третирует его, осыпает его насмешками. Внутренний мир Рогожина находится для нее за семью печатями. В то же время фактически извращенно, идеализированно раскрывает она для себя Аглаю. Она считает, что Аглая способна «любить без эгоизма», «любить не для себя самой», «а для того, кого любишь», что Аглая «выше всякой обиды, выше всякого личного негодования» (8, 379). По отношению к Аглае у нее нет достаточно трезвого реалистического подхода. А на поверку оказывается, что Аглая не может отрешиться от эгоизма в любви, не может подняться над обидой. Во время своего свидания с ней Настасья Филипповна смотрит на нее и «точно себе не верит»: «И я ее за ангела почитала!<...> И подумать, что я вас уважала, даже до этой самой минуты!<...> я о вас лучше думала; думала, что вы и умнее» (8, 473—474).

Ненормальное общественное положение замыкает Настасью Филипповну, так же как Аглаю, в стихию индивидуальной любви, в стихию индивидуального чувства, любви-страсти. Мир, находящийся за пределами любви, остается для них как бы

непознаваемым. Князь как-то заявляет о своем желании, чтобы «все ясно читали друг в друге». Вот этого «ясного чтения друг в друге» и не хватает Аглае, Настасье Филипповне и Рогожину. Они поглощены индивидуальным чувством.

Это индивидуальное чувство, владеющее Рогожиным, Аглаей и Настасьей Филипповной, является непосредственной причиной катастрофы, завершающей роман, жертвами которой оказываются все главные его персонажи. Непонимание основного смысла отношений, существующих между Настасьей Филипповной и князем, влечет за собой ревность Аглаи к князю и ненависть ее к Настасье Филипповне. Аглая ведет себя с ней вызывающе, видит в ней врага и не собирается уступить ей свое место возле Мышкина. Поведение же Аглаи пробуждает эгоистические чувства в душе Настасьи Филипповны, пробуждает в ней страсть к Мышкину. Она обнаруживает, что не в состоянии уступить его своей сопернице.

Если бы не поведение Аглаи, Настасья Филипповна самоустранилась бы и пожертвовала своей любовью к князю ради его счастья. Но и сама Настасья Филипповна, если бы не ее не преодоленный до конца эгоизм, могла бы и должна была бы понять и оправдать Аглаю.

Индивидуальная любовь — именно это и подчеркивается всем ходом действия романа — не способна привести отношения людей к гармонии. Она не может сама по себе принести человеку счастье. Человек, и полюбив, остается в сфере несчастья и горя, в сфере страдания. Именно об этом свидетельствует жизненный путь Рогожина, жизненный путь Аглаи, жизненный путь Настасьи Филипповны.

Но счастья не приносит людям и любовь-жалость, любовь «всеобщая», свободная от эгоизма и страсти. Она, эта любовь, тоже не способна приостановить, замедлить и тем более отменить катастрофу.

С. Г. БОЧАРОВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТАТЬЕ Д. Д. ОБЛОМИЕВСКОГО

Публикуемая работа — фрагмент из незавершенной работы «Достоевский и мировая литература» — принадлежит перу видного советского литературоведа Дмитрия Дмитриевича Обломиевского (1907—1971). Основным предметом его исследований была история западноевропейской, прежде всего французской, литературы, в изучение которой его труды внесли значительный вклад («Французский романтизм», 1946; фундаментальный труд о Бальзаке, 1961; «Литература Французской революции 1789—1794 гг.», 1964; «Французский классицизм», 1968; подготовленная в последние годы книга о поэзии французского символизма,

а также работы о Филдинге, Дидро, Мервме, Диккенсе, Франсе).

С самого основания журнала «Вопросы литературы», на протяжении более чем 10 лет, Дмитрий Дмитриевич был членом его редколлегии, вначале заведующим отделом зарубежных литератур, а позднее деятельно участвуя в его работе.

Книга о Достоевском была давним замыслом Д. Д. Обломиевского. В значительной своей части она была написана в 1942—1947 гг. В последние годы автор предполагал вернуться к ней, но не успел этого сделать. Он писал об ее плане: «Работа должна состоять из двух частей: в I части (объемом в 6 авт. листов) будет дан краткий обзор творчества писателей, которые оказали влияние на Достоевского, у которых он, судя по его статьям, письмам и художественным произведениям, учился. Сюда относятся и создатели классической трагедии — Корнель, Расин, Вольтер, и авторы просветительского романа — Вольтер, Дидро, Руссо, и представители романтического направления — Гофман, В. Гюго, Ж. Санд, и лидеры социально-критического реализма — Бальзак, Диккенс. Здесь же будет учтено, пусть очень кратко, и творчество некоторых русских писателей, оказавших влияние на Достоевского, как его предшественников (Пушкина, Лермонтова, Гоголя), так и его современников (Тургенева и Гончарова).

От всех этих писателей пришли к Достоевскому 1) характерные для него интеллектуальные герои, носители „идеи“, 2) униженные, подавленные персонажи, 3) те реальные обстоятельства, в которых действуют эти герои и персонажи — атмосфера капиталистического города, воплощенного у него в Петербурге, обстановка провинциальной жизни, запечатленная в „Бесах“ и „Братьях Карамазовых“.

II часть (объемом в 14 а. л.) будет посвящена главным образом анализу больших романов Достоевского, а также и разбору его творчества 40—50-х и начала 60-х годов. При этом разбор его произведений будет производиться на общеевропейском литературном фоне, в постоянном сопоставлении с произведениями его предшественников и современников. А сопоставления эти будут выявлять как заимствования Достоевского у других художников, так и самостоятельное, своеобразное решение идейных и художественных проблем, выдвинутых и поставленных его предтечами и предшественниками...

В 1942—47 гг. мне не хватало для выяснения вопроса о мировом значении Достоевского достаточно широкого знакомства с западноевропейской литературой. Я основательно знал только французских романтиков и более всего Бальзака, а также западноевропейский роман 17—18 вв.

Теперь, после более обстоятельного знакомства с Бальзаком и современными ему романистами, которых знал Достоевский (напр., Сулье), с просветителями (я изучал их и в процессе писания своей «Литературы Французской революции», и для соответствующих глав V тома «Истории мировой литературы»).